

Участь первой

К 100-летию Любови Орловой

Искусств. — 2002. — 29 янв. — с. 8

Орлова начинала на сцене, и поскольку карьера ее в качестве опереточной и эстрадной актрисы развивалась не совсем безуспешно, могло случиться так, что именно сцена стала бы ее единственной и бесповоротной стезей. Но не случилось. В кино пришел звук и потянул туда за собой новые лица, новые имена. Иные из них сегодня забыты. Иные взметнулись в звездные выси и памятливы до сих пор. Но стремительней, выше — и незабвенней — Орловой не удалось взлететь никому.

Марк КУШНИРОВ

Действительно, трудно представить Орлову, главную звезду советского экрана 30-х, в немом кинематографе, а еще труднее в немых кинокомедиях. Герои (и героини) этих комедий — обитатели смутной, смурной, еще неразвившейся жизни. Люди очередей, барахолок, обшарпанных трамваев, грязноватых окраин, тесного и склочного коммунального быта. Их не ждут в финале Большой театр, физкультурный парад на Красной площади или пышные павильоны Сельскохозяйственной выставки. В этих фильмах нет и намека на тот бравурный, помпезно-цветистый форс, на ту победную маршевую поступь, которую принесли на экран комедии Александра.

Время, в которое довелось творить Орловой и Александру, было иным. Оно не знало полутонув, полумер. Полугория и полурадости. Воспаленное от нетерпения оправдывать и возвышать себя, оно было благосклонно к своим энтузиастам. К тем, кто был способен с открытой душой без колебаний и оговорок, без лишнего умствования, вопреки стихиям и неполадкам, козням нытиков и маловеров, вопреки проискам прогнившего Запада свершать невозможное. И воспевать невозможное.

Ни бури, ни гроз

Ни Орлову, ни Александрову не надо было учить этому энтузиазму, ибо ничто более не отвечало их житейским упованиям, их душевному складу, как безоглядный (едва ли не слепой) исторический оптимизм. На нем был настоящий климат их повседневного бытия, где не витали ни ледяные, ни жаркие ветры, не бушевали грозы и бури. Не колебалась почва. Не извергались вулканы. Там царили уют, благочиние и покой. Безусловно, этот климатический феномен был в первую очередь порождением александровской энергетики (имей он личный герб, то не придумать лучшего для него девиза, чем «все хорошо!»). Однако же и Любовь Петровна, пережившая в молодости не одно лихолетье, не только охотно приносившаяся к такому климату, но ощутила в нем желанное счастье. И оберегала его ревностно, подчас жестко, с равной безжалостностью к любому сотрясению основ — малому и великому. Ни он, ни она не могли и не желали адекватно реагировать ни на какие потрясения, если они не касались напрямую их преуспевания. Ничего близко к сердцу, кроме того, что близко: работы, официальной репутации, семейно-домашнего благополучия.

То, что должно было бы стать для художника камнем преткновения, ослабить его творческий пыл, отвлечь от лицевой (и лицемерной) стороны жизни, на Александрова, как и на многих других корифеев советского кинематографа, действовало обратным образом. Побуждало еще ретивей, еще охотней устремляться на солнечную, на светлую сторону, стряхивать с себя все горькое и неприятное, как случайную, невесту откуда взявшуюся засохшую грязь. И



Свой цилиндр в «Веселых ребятах» Любовь Орлова почти наверняка заимствовала у Марлен Дитрих, на которую была так похожа и которую так ревниво отвергала

Орлова была с ним в этом, как и во всем жизненно важном, абсолютно солидарна.

Неразумно, конечно, думать, что мода, повальный спрос на исторический оптимизм, имевший место в то время, вызывались одной лишь человеческой слабостью (желанием забыться, отрешиться, утешиться) и вышестоящими подсказками. Все было чуть-чуть сложнее. Горше. Коварнее. Оптимистичные мифы, создаваемые Властью (временщиками), апеллировали не только к лубочному подсознанию массы, но и к здравому смыслу. К естественному желанию людей трудиться и учиться, торопить свое счастье, верить в себя, не покладая рук и не вешать носа. Они отвечали вождиям коллективной души, смертельно уставшей от многолетнего хаоса и чрезвычайщины, истощенной войнами, революциями, голодом, безработицей, беспризорностью, перманентной грызней и произволом верхов.

Всех разбудим-будим-будим

Исторический оптимизм, пусть даже в примитивно-языческой форме, был той соломинкой, за которую инстинктивно хваталось общественное сознание. Другого безобманного антимифического способа выжить, сохранить волевою энергию, позитивные ментальные свойства у народа не было. И если уж уточнять метафору, то соломинкой правомерно называть и лодку, в которую, спасая жизнь, радостно лезешь, не думая, какой курс она держит и куда тебя завезет.

Кнут был реальностью. Такой же реальностью хотелось видеть и пряник. Вот почему так жалко откликнулся народ на каждый рекорд, на каждый успех советской науки и техники. И культуры. Чаяния опережали Время (бесчинное и самоуверенное), и Время, торопя их нагнать, горячилось и гневало, нервно оглядывало себя в поисках симптомов, знаков, очевидных доказательств своей чистоты и правоты. Торопясь и гневаясь, оно творило помпезные, хотя порой и жизнестойкие, суррогаты этих доказательств, но вместе с тем не забывало изредка одарять благосклонностью то разумное, доброе, вечное, что можно было бы также причислить к своим великим достижениям. Оно поощряло всех — и талантливых, и бездарных, кто мог показать этот желанный пряник так, чтоб в него поверилось. Чтобы его вид, цвет и запах были бы самодостаточной радостью.

Народ хотел этой радости и потому так охотно, так легко подхватывал бодрые песенки, которые учила его петь Любовь Орлова:

Что мечталось и хотелось,

То сбывается.

Прямо к солнцу наша смелость

Пробивается.

Всех разбудим-будим-будим!

Все добудем-будем-будем!

Словно колос,

наша радость наливаются.

Конечно, были у нас и другие учителя пения, тоже обаятельные, красивые и талантливые. Но ни один из них не обладал тем редким сочетанием, которым одарили музы Любовь Орлову. Которое позволяло ей перемежать, выдавать вспышками, искрами то эксцентрику, то героиню, то лирику. То величавую монументальность, то игривое простодушие, то ослепительную женственность. Ни одна звезда не демонстрировала с такой наглядностью свою артистическую недосыаемость. И этим была особенно притягательна как всякое надмирное существо. В любви к ней, несомненно, был оттенок благоговения.

Она у нас одна

Разумеется, первенство Любови Орловой в какой-то мере было предопределено ее реальным первенством. Музыкальных звезд зарубежного кино советский зритель тогда, в начале 30-х, еще не знал. Свои помимо Орловой появились позднее. Но и позднее она легко перенесла все сравнения — правомерные и произвольные. Ее никто не потеснил и не затмил: ни новоявленные советские звезды, ни светозарная зарубежная плеяда, заполученная нами главным образом в качестве трофея. Когда на одном из приемов в Кремле Сталин, полушутя, приказал Александру под страхом казни (буквально) беречь Орлову — она у нас одна! — его державные уста лаконично озвучили народное мнение.

И дело не только в том, что Орлова была у нас единственной звездой в жанре феерической музыкальной комедии. Все ее лирическое мастерство — вокальное, пластическое, комедийное, все ухищрения режиссуры были устремлены к тому, чтоб родить в душе зрителя детское изумление, ощущение Чуда — невероятного и в то же время доступного. То есть нашенского, родного. Ни в советском, ни в зарубежном кинематографе не было музыкальной звезды, способной так физкультурно шагать, так напористо и задорно отстаивать свою социальную значимость, так зажигательно исполнять песню-марш, песню-призыв,

песню-лозунг. Ее уверенный взгляд, горделивая, победительная осанка, ее азартная деловитость, бьющий через край артистизм, приветливо-озорная улыбка и та же сказочно-колдовская надмирность стали наглядными, зримыми приметами Идеала. Образцово-показательным воплощением девичьей миссии. И женской тоже. (Политическая конъюнктура и народное мнение здесь совсем не расходились.)

Эта же исключительность ее положения, крайняя заинтересованность в ней не только зрителя, но и самого государства работала на нее не хуже голливудской системы звезд. Были и реклама, и непрестанный прокат, и непрестанное присутствие в общественной жизни, и высочайшие сановные почести. Тогдашний советский зритель стойко переживал разлуку, терпеливо питал надежду и был неизменно расположен к новому свиданию с Орловой. (Заметим в скобках, что ни одна зарубежная звезда не успевала бы при таких паузах: Орлова снималась всего раз в два-три года, хотя нормально — в соответствии со спросом — было бы сниматься дважды в год.)

Неприятие Марлен

Она не испытывала никакой ревнивой зависти к зарубежным звездам — даже тем, кто заставлял сердца наших зрителей трепетать с не меньшей силой: к Франческе Гааль, Марике Рёкк, Дине Дурбин. Правда, она не любила при себе восторженных толков о других звездах, но это по-человечески понять можно. Конечно же ей, как всякой актрисе и женщине, не было чуждо желание первенствовать, но оно никогда не проявлялось откровенно — кто-то, а она умела держать себя в руках.

И только одно звездное имя вызывало у нее живейшую неприязнь — Марлен Дитрих. (Их столетние юбилеи фактически совпали во времени.) Тут не было серьезной творческой ревности — я не уверен даже, что Орлова видела что-либо, кроме «Свидетеля обвинения». Тут было именно неприятие — ревнивое неприятие личности. И эта странная на первый взгляд реакция была по-своему правомерной. Любовь Петровна чутко улавливала в Марлен особую форму, особую, недоступную ей самой пробу женского мироощущения: дерзкое, но нисколько не развязное свободомыслие, неприужденную, неукротимую самостоятельность, гражданскую независимость, смелую, а подчас и бедовую власть над мужчинами. И бесстрашное, безнервное одоление

времени (что для Орловой с годами становилось все более маниакальной проблемой), и свободное знание двух мировых языков кроме родного немецкого (Орлова могла лишь чуть-чуть объясняться по-французски).

Вдобавок ко всему они были не то чтобы внешне похожи, но не очень и разнились (абрисы в общем-то совпадают). А уж в знаменитых своих цилиндрах и подвадно. (Трудно сомневаться, что цилиндр Орловой в «Веселых ребятах» заимствован из «Голубого ангела».)

Они встречались раза два или три в Америке во время небольших артистических раутов. Их фотографировали в компании других знаменитостей. Любовь Петровна никогда не становилась рядом с Дитрих, а на полученных снимках старалась, если возможно, вырезать или отрезать последнюю. Одна из таких искаженных фотографий висела на даче в кабинете Александра.

Но есть в контексте нашего разговора и более серьезный резон для сравнения их судеб. Сдается, что еще одной подсознательной причиной ревности советской звезды был тот героический ореол, который создал германской актрисе ее вызов тоталитарному нацистскому режиму. Ее публичный отказ иметь дело с вождями, с партией, с фанатичной идеологией, с покорным одуряченным народом. Ее презрительный отклик на предложение стать первостатейной звездой Третьего рейха. Гитлер почитал Марлен Дитрих не меньше, чем Сталин Орлову. Геббельс обещал самолично расстрелять красную дорожку от Темпельхофа до Берлина, если она вернется. Она не вернулась.

Оправдания и улики

Орловой, безусловно, была по душе ее первостатейность в Стране Советов. Звезда экрана, актриса, она любила хвалу и дорожила ею. Ей нравилось быть обожаемой, несравненной, единственной — и вряд ли такая слабость достояна укора. Тем более что в глубине души она стеснялась избыточной, истеричной шумихи вокруг себя. Она была слишком умна, слишком воспитанна, чтобы воспринимать все это всерьез. Она прошла хорошую школу жизни и хорошую школу творчества. Она была современницей великих актеров, безмерно восхищалась ими и, будучи гораздо популярнее многих из них, никогда не посмела бы возомнить себя более талантливой, более великой.

Я помню ее человеком здравым и остроумным, помню, как ядовито процитировала она какую-то слащавую статью, где автор взахлеб расписывал явление Орловой народу. И отрезкировала горько: «Нехорошо! Это же все шелуха. А что за этим стоит!»

Легко догадаться, что имела в виду Любовь Петровна. Адский труд, ангельское терпение, беспрестанную нервотрепку, усталость до чертиков, невидимые миру морщины, болезни и травмы, тысячу всяких запретов и миллион докучнейших забот.

Но если б только это! Если бы. За всем, что ни есть в искусстве Орловой и ее преданного спутника, стоит Время, стоит Эпоха. Эпоха — воистину потрясающая: размахом свершений, трудового энтузиазма, размахом душевной прочности и героизма, размахом планов и надежд, размахом жертвенности и героизма. Размахом лжи и беззакония. Унижения и униженности.

Орлова и Александров не просто отразили эту Эпоху, они сами были одним из самых неотразимых, самых действенных ее оправданий. Были одним из ее великих достижений — дерзостным вызовом и неповторимым рекордом. И потому стали одной из самых убийственных ее улик.

Орлова Любовь Петровна

29.1.02